

Содержание

<u>ЧТО ТАКОЕ МАССОВЫЙ УБИЙЦА?</u>	7
<u>МАССОВОЕ УБИЙСТВО И МОРАЛЬ</u>	21
Мораль убийства.....	27
Национал-социалистическая мораль.....	56
Третий рейх как нормативная модель.....	80
<u>СИТУАЦИИ СМЕРТИ</u>	90
Действующие лица.....	90
Перед убийством.....	116
<u>ИНИЦИАЦИЯ УБИЙЦЫ</u>	124
Работа по умерщвлению. Исполнение.....	155
Убийство и повседневность.....	229
Психическая нагрузка.....	246
<u>КАК И ПОЧЕМУ УНИЧТОЖАЮТ ВРАГОВ</u>	256
Вьетнам.....	256
Руанда.....	266
Югославия.....	275
<u>ВСЕ ВОЗМОЖНО</u>	287
<u>БЛАГОДАРНОСТИ</u>	315
<u>ОБ ИСТОЧНИКАХ</u>	317
<u>ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА</u>	323
<u>ПРИМЕЧАНИЯ</u>	335

Что такое массовый убийца?

*Если люди, получившие такое же воспитание,
что и я, говорящие те же слова, что и я, любящие
те же книги, ту же музыку, те же картины,
что и я, — если эти люди совершенно
не застрахованы от вероятности превратиться
в извергов и творить вещи, о которых мы прежде
и подумать не могли, что на них способны люди
нашего времени, за редким патологическим
исключением, то как я могу быть уверен в том,
что от этого застрахован я сам?*

МАКС ФРИШ, 1946 г.

Когда главные военные преступники, в том числе Герман Геринг, Рудольф Гесс, Альберт Шпеер, Ганс Франк и Юлиус Штрейхер, сидели в тюрьме в Нюрнберге, большой интерес вызывало то, как устроена их психика: что же это за люди, каждый из которых по-своему участвовал в планировании и **совершении** самого крупного в истории преступления против человечности, которые готовили проекты Великогерманского рейха, его столицы — Германии (предварительно следовало разгромить большевизм, уничтожить евреев и всех «недочеловеков» вообще) и отдавали распоряжения об их реализации? Масштабность преступлений национал-социалистов наводила на мысль, что речь, видимо, идет о людях с какими-то психическими отклонениями, — предположение о том, что ответственные за многомиллионные убийства могут быть абсолютно нормальными с точки зрения психологии

людьми, большинству современников казалось совершенно абсурдным. Этому способствовали и некоторые странные, подчас опереточные черты отдельных представителей национал-социалистической правящей элиты — например, Германа Геринга, Йозефа Геббельса и Рудольфа Гесса. В связи с этим обвиняемые подвергались тщательному психиатрическому обследованию с проведением бесед, наблюдений и тестов. Первый ответственный судебный психолог на Нюрнбергском процессе Дуглас Келли в 1946 г. писал: «Собранный материал включает в себя тесты Роршаха в полном объеме, множество других подобных личностных тестов, внимательные психиатрические наблюдения, графологические тесты и тесты на определение уровня интеллекта»¹.

Особенно интересовали Келли результаты тестов Роршаха, в рамках которых пациенты или участники исследования должны были с разных точек зрения интерпретировать бесформенные чернильные пятна. В то время такие тесты считались наиболее надежным методом проективных исследований. Ассоциации, возникающие у испытуемых, записываются. В зависимости от них — например, от того, какое животное видит человек в этих абстрактных изображениях или что означают для него эти тени, а также от того, интерпретирует ли испытуемый отдельные детали или картину в целом, — опытные психологи могут сделать вывод о его психическом состоянии и о его личности. Именно с помощью тестов Роршаха Келли надеялся сделать заключение о состоянии психики главных военных преступников. Он даже решил отправить собранный материал «ведущим экспертам по тестам Роршаха и затем собрать их заключения, чтобы составить наиболее ясную картину об этих индивидах — представителях самой скверной группы преступников, которых когда-либо встречал род людской»².

Прошел год, прежде чем Келли претворил свой план в жизнь. Десяти ведущим экспертам, специализировавшимся на тестах Роршаха, были отправлены письма с просьбой «определить значимые характеристики этих людей, чтобы дополнить исследования менее опытных психологов», работавших непосредственно с обвиняемыми в Нюрнберге³. Результат оказался ошеломительным. Несмотря на то что речь шла об абсолютно уникальном случае, эксперты проявили к материалам крайне мало интереса. Точнее говоря, ни один из десяти экспертов не отреагировал на просьбу составить заключение. Извинения, если и последовали, выражали безразличие: не было времени, руки не дошли, помешали непредвиденные личные обстоятельства.

Такой очевидно не согласованный, но абсолютно единодушный отказ имел, однако, более глубокое объяснение, связанное с самим материалом исследований. Как писала 30 лет спустя Молли Хэрроуэр, одна из тех экспертов, к которым Келли обратился за помощью, для всех них было очевидно: общественность ожидает, что эксперты обнаружат в результатах тестов какое-нибудь уникальное психическое отклонение, «общую структуру личности» нацистов «особо отвратительной натуры»⁴. Однако ничего подобного в полученном материале не оказалось — и, по-видимому, эксперты не захотели сообщать об этом миру. В итоге сам Келли набрался мужества и сформулировал в своем заключении простой и драматичный вывод: «По результатам исследований мы вынуждены заключить, что данные лица не являются ни больными, ни особенными; это совершенно обычные люди, которых можно встретить в любом уголке земли»⁵.

Однако это отрезвляющее суждение, как известно, не остановило тех, кто искал у национал-социалистских преступников какие-либо психические аномалии, позволяющие

объяснить то, что совершали эти изверги и за что они были в ответе. Например, Теодор Адорно, явно предпочитавший психологическим тестам психоанализ, в своем эссе «Воспитание после Освенцима» предлагал «изучать виновных в Освенциме всеми методами, доступными науке, в том числе многолетним психоанализом, чтобы выяснить, как человек превращается в такое»⁶. Вряд ли это принесло бы большие результаты. Так же, как и Келли, Джон Крен и Леон Раппопорт в своем исследовании психологии членов СС отмечали, что подавляющее большинство эсэсовцев — как руководителей, так и их подчиненных — с легкостью прошли бы комиссию на психологическую пригодность к службе в американской армии или полиции Канзас-Сити. На основании свидетельских показаний они подсчитали, что лишь у 10% членов СС можно было выявить клиническую патологию⁷. Такая «нормальность» преступников вызывала недоумение. В особенности это заметно у эксперта, составлявшего в 1961 г. заключение о вменяемости Адольфа Эйхмана. Сделав вывод, что его испытуемый нормален, эксперт добавил: «Во всяком случае, куда более нормален, чем был я после того, как с ним побеседовал!»⁸

Но Молли Хэрроуэр, так же как Адорно и многим другим, не давал покоя вопрос: что же за люди эти преступники? В 1974 г. она вновь подняла материалы Нюрнбергского трибунала и вновь их проанализировала — теперь уже с опорой на свой 30-летний опыт. Результат оказался неоднородным. Например, Гесс демонстрировал некоторые эмоциональные отклонения, Риббентроп — явные признаки депрессии, которые, однако, были связаны скорее с его мрачными перспективами, чем с его прошлым. Другие же преступники представлялись во всех отношениях психически здоровыми личностями — что было удивительно, учитывая,

какая судьба ожидала их на момент прохождения тестов. Хэрроуэр хотела добиться более четких результатов и попросила 15 экспертов по тестам Роршаха просмотреть и оценить данный материал. Однако метод оценки изменили: если в 1947 г. эксперты знали, чей материал исследуют, то теперь Хэрроуэр выбрала восемь тестов из группы главных военных преступников, анонимизировала данные и перемешала их с аналогичным материалом восьми человек из других исследований. Этот пакет материалов она отправила экспертам с просьбой выяснить, есть ли значительные различия между личностными профилями участников и возможно ли объединить их в какие-либо группы.

На этот раз 10 специалистов, к которым она обратилась, составили заключения (еще трое по различным причинам отказались, двое не ответили), ни одно из которых даже отдаленно не соответствовало биографиям людей, о которых шла речь. Напротив, на вопрос о том, к каким группам можно отнести наиболее заметных исследуемых, эксперты выдвигали гипотезы от правозащитников до крайне умных, творческих и деятельных личностей. Вероятно, из-за этих качеств один эксперт даже предположил, что речь идет о группе психологов.

Барри Ритцлер, находившийся под впечатлением от публикации Хэрроуэр, сам опубликовал в 1978 г. небольшой повторный анализ этих шестнадцати оригинальных тестов и пришел к выводу: единственное, что в них бросается в глаза, — сниженная способность к эмпатии; но в целом никаких клинических отклонений не обнаружил⁹. При этом, по мнению Ритцлера, личностные профили испытуемых никоим образом не соответствовали определению Ханны Арендт в «Банальности зла»: те представляли слишком яркими, творческими и одаренными фантазией. Было

в этой истории и кое-что ироничное: Ритцлер отметил, что пять из шестнадцати исследуемых увидели в пятнах Роршаха хамелеонов, что встречается крайне редко. Возможно, не случайно четверо из пяти нацистов, которые идентифицировали чернильные кляксы с этим крайне способным к адаптации животным, избежали в Нюрнберге петли, отделавшись лишь тюремным заключением...

Таким образом, с помощью тестов Роршаха не удалось выявить «преступный тип личности» или вообще какие-либо аномальные психологические признаки¹⁰. Конечно, можно сказать, что те, кто обвинялся на Нюрнбергском трибунале, не совершали собственноручно насилия над своими жертвами и потому, в отличие от преступников из айнзацгрупп, убийц в концентрационных лагерях и врачей СС, необязательно должны были обладать садистическими или нарциссическими чертами. Но на протяжении всей иерархической лестницы, от более высоких руководителей СС и полиции до командиров оперативных групп, от расовых экспертов Главного управления СС по вопросам расы и поселения до комендантов концлагерей, от членов полицейских батальонов у расстрельных ям до охранников в лагерях, садистические черты личности являются скорее исключением — например, их обнаружили у Ильзы Кох, жены коменданта Бухенвальда Эриха Коха, смещенного с должности из-за различных нарушений, и у Амона Гёта, коменданта лагеря в Плашове, ставшего известным благодаря фильму Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Амон Гёт в качестве развлечения расстреливал заключенных с веранды своей виллы. Среди бесчисленных теоретиков и исполнителей массового уничтожения, как правило, лишь у 5–10% обнаруживаются психические отклонения, что не является сколько-нибудь необычным показателем

в современном обществе*. Получается, что подавляющее большинство этих преступников вполне соответствовали тем представлениям, которые мы имеем о самих себе, — они были «нормальными». Примо Леви, переживший Холокост, тоже писал: «Есть чудовища, но их так мало, что едва ли можно считать их опасными. Те, в ком таится опасность, — нормальные люди»¹¹.

Это, безусловно, удручающий вывод: ведь поступки, которые совершали эти психически нормальные люди, были настолько ненормальными, что мы до сих пор не можем найти какого-либо убедительного объяснения тому, как это вообще было возможно. И, должен признать, при подготовке к работе над этой книгой я то и дело был на грани отчаяния, поскольку полагал, что так и не смогу найти если не разгадку, то хотя бы социопсихологические рамки для объяснения той «трагической легкости» (по определению Жермена Тильона), с которой люди становились убийцами и массовыми убийцами, хотя незадолго до этого им и во сне не могло привидеться, что они в состоянии кого-то убить. Когда в протоколах допросов членов айнзацгрупп во всех подробностях читаешь, насколько глубоко — в буквальном смысле — эти

* Для США и других западных обществ «нормальным» признано наличие 0,5–2,5% параноидальных личностей, к ним добавляются еще 1–3% асоциальных личностей. Кроме того, считается, что 7,5% населения обладают признаками шизоидной личности. Как бы ни оценивались эти показатели по отдельности (последний, на мой взгляд, кажется довольно высоким), они демонстрируют, что количество людей с психическими отклонениями среди исследуемых преступников примерно соответствует общим показателям общества, несмотря на необычные условия ситуации. См.: Kaplan Harold I., Sadock Benjamin J. und Grebb J. A. *Synopsis of Psychiatry. Behavioral Sciences and Clinical Psychiatry*, Baltimore 1994. S. 731 ff. — *Здесь и далее прим. авт.*, если не указано иное.

преступники при расстрелах погружались в кровь своих жертв, как они приказывали все новым людям ложиться на только что убитых, чтобы их расстрелять (из пулеметов, пистолетов или автоматов, в зависимости от вкуса и опыта соответствующих команд), как разлетались на палачей осколки костей и частицы мозга убитых, — в общем, когда сталкиваешься с такими подробностями умерщвления, действительно трудно понять, как такое вообще стало возможным. Почти рефлексивно развивается желание просто отвернуться от этого ужаса, в особенности когда читаешь ужасающе циничные показания преступников перед судом, в которых они сами пытаются выставить себя истинными страдальцами: «Должен сказать, что нашим мужчинам, принимавшим в этом участие, это действовало на нервы похуже, чем тем, кого там приходилось расстреливать»¹².

Но этому желанию отвернуться, которое преступники так легко вызывают в нас, нельзя поддаваться. Именно в подобных фразах содержится ключ к объяснению того, как могли они совершить то, что совершили. Возможно, они видели себя жертвами великой задачи, которую, как им казалось, диктовала историческая ситуация. Высказываясь в таком духе, они субъективно рассчитывали, что и для других смогут представить свои действия допустимыми и понятными — как казались они допустимыми им самим в момент совершения убийств в 1941 г., а некоторым — даже десятилетия спустя, на допросах. В отличие от выживших жертв, которые, как, например, участники еврейских зондеркоманд, не могли оправиться после того, чем их принуждали заниматься, преступники, судя по их высказываниям, без труда представляли себя — как тогда, так и сейчас — несломленными и цельными. При чтении протоколов допросов и автобиографических заметок больше всего угнетает то, что их авторы полностью отдавали

себе отчет в своих действиях, — потрясает эта способность жить с несломленной психикой, расстреляв, скажем, 900 мужчин, женщин и детей, и спокойно размышлять, на какую специальность лучше отдать учиться сына*.

Поэтому так необходимо «пребывать в ужасном», как писала Ханна Арендт. Это первое, что необходимо хотя бы для того, чтобы описать, как преступники сами воспринимали себя, совершая убийства, и как могли интерпретировать свои собственные действия¹³. Кроме того, нужно понимать, что нередко допросы велись спустя 20–30 лет после совершения преступлений. Это значит, что все прошедшее время — эти 20, 30 лет — преступники вели совершенно нормальную жизнь, стали ремесленниками, комиссарами полиции, журналистами, женились, завели детей и построили свои дома. То, что все эти годы преступники в массе своей не страдали от бессонницы, депрессии, тревожности и пр. — кстати, в отличие от их жертв, выживших в войне, — может вселить чувство полной безнадежности в человека, пытающегося найти всему этому какое-либо объяснение.

Но и чувству безнадежности тоже нельзя поддаваться, поскольку именно истории жизни убийц могут помочь понять, как вообще были возможны массовые убийства, подобные, например, расстрелам в Бабьем Яре, когда несколько сотен карателей** за пару дней уничтожили более 33 000 мужчин, женщин и детей — собственноручно, прямым актом

* Такие рассказы попадают, например, в протоколах допроса одного адъютанта командира 45-го батальона, который еще встретится нам в основной части книги.

** Точное число не называется. Участвовали подразделения полицейского полка «Юг», вермахта (устанавливали заграждения), украинское ополчение и зондеркоманда 4а.

физической силы. Очевидно, даже это деяние палачам удалось так интегрировать в свою жизненную концепцию, что и после 1945 г. они продолжали вести нормальную обыденную жизнь. Одна из причин, по которым участие в массовых убийствах не вызвало у них особых душевных проблем, состоит в том, что люди способны вписывать свои действия в определенную систему координат («Но ведь шла война», «Но ведь был приказ», «Это было ужасно, но я должен был»), которая позволяет рассматривать собственные действия как нечто независимое от своей личности. Позже я поговорю об этом подробнее.

Помимо таких скорее аналитических причин, заставляющих не отворачиваться от ужасного, есть и политические причины, по которым с преступниками и их преступлениями нужно разбираться как можно подробнее. Нельзя всякий раз реагировать на новый процесс над геноцидом (как, например, в бывшей Югославии или в Руанде) с таким ужасом, словно подобное происходит впервые, — вместо того чтобы раз и навсегда осознать, что насилие, во-первых, имеет историю и повторяющиеся элементы, а во-вторых, происходит в сходных исторических ситуациях. Как правило, коллективные акты насилия — это не необъяснимые вспышки, а повторяющиеся социальные процессы, которые имеют начало, середину и конец и совершаются не буйнопомешанными, а вполне рассудительными людьми. Процессы геноцида обладают собственной внутренней динамикой — по мере развития становится возможным то, что вначале казалось совершенно немыслимым, — а насилие само по себе не является только деструктивным: в итоге создается новая структура, которой *до насилия* не было. Проявляется ли эта структура в формировании государства по этническому принципу или в устойчивом социопсихологическом эффекте (например, что

после Холокоста евреев стали воспринимать прежде всего как жертв) — на данном этапе несущественно. Речь идет о том, чтобы понять насилие в его структурообразующей функции и описать совершающих насилие как мыслящих людей, чтобы затем иметь возможность наблюдать за развитием процессов геноцида и предотвратить их на стадиях возникновения и развития.

Есть еще одна причина, по которой действия преступников необходимо рассматривать глубже, чем это делалось ранее. Она связана как раз с процессуальным характером массовых убийств и геноцидов и имеет непосредственное отношение к современности. Если посмотреть на скорость, с которой протекали процессы этнизации в Югославии, втянувшие все общество в крайне жестокую войну с этническими чистками и массовыми расстрелами, или представить, за какой невероятно короткий период немецкое общество обратилось к национал-социализму после января 1933 г., начинаешь понимать, насколько слабы внутренняя психосоциальная стабильность и устойчивость современных обществ, в которые мы так верим. В то же время становится понятно, что за несколько месяцев способны измениться не только абстрактные аналитические категории, такие как «общество» и «форма власти», но и конкретные люди, которые составляют эти общества и реализуют их формы власти, — они могут весьма быстро изменить свои нормативные ориентации, ценности и убеждения, самоопределение и поведение. Ведь решения о дискриминации других членов общества, о лишении их прав, об отъеме их имущества и, наконец, об их депортации и уничтожении не были приняты в 1933 г. сразу в полном объеме. Они формировались последовательно через активную поддержку и участие сограждан. Постепенно все более нормальным и приемлемым считалось то, что сначала казалось

бесчеловечным и недопустимым. Это наблюдение также крайне важно для объяснения преступлений и преступников.

Общественный процесс, в котором радикальная дискриминация других рассматривается во все более положительном ключе, а запрет на убийство перерождается в призыв к убийству, формирует первый круг обстоятельства дела. На этом этапе создаются рамки интерпретации событий, происходящих в обществе, диктующие нормы поведения для каждого отдельно взятого члена общества. В дальнейшем эти рамки могут меняться, адаптируя общество к изменениям в нормах. В отдельных случаях люди могут действовать не вполне в соответствии с этими рамками, переступить за них либо их игнорировать. Но они очень важны для анализа действий преступников, поскольку решения по совершению каких-либо действий принимаются не чисто ситуативно и индивидуально, а всегда в соответствии с этими более глобальными рамками. Например, мнимая легитимность расстрела евреев вписывается в контекст доминировавших в обществе антисемитизма и расизма или, еще глобальнее, в контекст национал-социалистической морали. В течение 12 лет, прошедших с 1933 по 1945 г., данный контекст очень быстро менялся, что важно для восприятия каждым отдельным человеком каждого конкретного случая — будь то ситуация, когда человек задается вопросом, может ли он позволить себе совершать покупки в еврейском магазине, или когда наблюдает за насилием в Хрустальную ночь, или получает приказ расстрелять еврейских детей. Потому что, прежде чем подумать о последствиях или принять решение о совершении (либо несовершении) конкретных действий, человек сначала интерпретирует ситуацию в целом. В таком процессе интерпретации нормы, доминирующие в обществе в целом, учитываются так же, как и ситуативно возникающие групповые нормы, общественные

представления о ценностях, религиозные убеждения, прежний опыт, знания, компетенции, чувства и т.д.

Социальная ситуация и ее трактовка индивидуумом, таким образом, составляют второй, внутренний круг обстоятельств дела. Он, в свою очередь, дифференцирован в соответствии с ожиданиями и опытом, которые сопровождают человека в данной ситуации, со способами решения полученных или возникающих задач, сопутствующими им проблемами или предпринятыми корректировками заданного пути, которые влекут за собой новые решения, и т.д. Только после описания данного круга для какого-либо конкретного поступка становится возможным проанализировать поле наблюдения за третьим, более индивидуальным кругом происходящего: оценкой собственного пространства действий конкретной личностью. Такое пространство не дано объективно. Оно зависит от того, воспринимает ли его сам индивидуум, и если да, то как; от того, каких возможных последствий он ожидает от принятия того или иного решения (стрелять вместе со всеми, тайком уклониться или вообще отказаться и т.д.), прежде чем решиться на что-то*. Лишь на этом уровне в игру вступает психология — поскольку интерпретация пространства

* Не всегда речь идет об осознанных размышлениях. Многие решения принимаются по привычке или интуитивно. Вместе с тем любым действиям предшествует интерпретация ситуации, как в привычном и неосознаваемом режиме действий, так и в рамках непростого и осознанного анализа непривычной проблемы. Постоянное наличие интерпретации становится заметно в тот момент, когда что-либо было интерпретировано неверно: ошиблись дверью, приняли незнакомца за знакомого, что-то неправильно поняли. Тогда появляется «необходимость прояснения ситуации» и становится видно, что неудавшееся действие явилось результатом некоей интерпретации — пусть в данном случае и неверной.

действий и сделанный на ее основе вывод зависят также от личных наклонностей, жизненного опыта, собственного мнения и убеждений, способности действовать и т.д.

Таким образом, один поступок разворачивается в рамках множества контекстов, в которых нужно различать общественный и индивидуальный уровни. С помощью такого различия можно описать не только то, что совершили данные конкретные люди, но и то, как они лично воспринимали соответствующую ситуацию, какие ситуативные условия были определяющими для их действий и в каких общих социальных и нормативных рамках, лежащих за пределами субъективного, совершался данный поступок.

Массовое убийство и мораль

*Я всегда понимал, что убийцы, жертвы
и наблюдатели были думающими людьми.*

РАУЛЬ ХИЛЬБЕРГ

Вилли Петер Риз явно не был «крепким орешком» — сохранившиеся фотографии и его собственные заметки подтверждают это. Как внешне, так и по духу он являлся таким юным эстетом в очках, который хотел стать поэтом — хотя по настоянию отца пошел после школы учиться на банкира. Короткая жизнь Риза была малопримечательной, так же как и его смерть, о которой нам известно лишь благодаря поискам Красного Креста, в ходе которых установлено, что он «с высокой долей вероятности пал в боях, проходивших с 22 по 30 июня 1944 г. под Витебском»¹⁴.

На момент гибели Ризу было 23 года. В 1942 г., когда он уже год служил солдатом в немецком вермахте, Риз сочинил следующие строки:

Мы пушками, винтовками и саблей
Творим громаднейшее зло, и поделом,
Мы человечность и свободу затыкаем,
Ведь мы — народ господ.
Рейх наш, а завтра — вся планета,
Здесь правит клоун, и мычит
Послушно стадо в хлеве пропаганды¹⁵.

Чтобы обезопасить себя, Риз писал стихотворения под псевдонимом Петер Райзер, который, впрочем, едва ли мог замаскировать автора. Критика рейха и опасное противостояние национал-социализму отчетливо читаются в других его строках того же периода:

Евреев уморим,
Ревущей ордою
В Россию войдем,
Заткнув людям рты,
Кромсаем в крови.
Нас клоун известный
Везде, повсеместно,
Ведет за собою,
А мы — лишь послы,
По пояс в крови.
Арийское знамя
Несем на плацу —
Оно нам к лицу¹⁶.

Риз оставил после себя стихотворения, письма, рисунки и, самое главное, подробный рассказ о войне, что необычно для столь юного участника событий. Во время фронтового отпуска в начале 1944 г. он написал «Признания с великой войны», зарисовки на 140 страницах, которым дал бойкий заголовок «Русские приключения». Эти приключения содержали, в частности, такие картины:

...[Мы] тосковали, делились любовными муками и ностальгией по родине, снова смеялись и дальше пили, ликовали, скакали по рельсам, танцевали в вагонах, стреляли в ночь, пустили в голую пляску пленную

русскую, мазали ей груди гуталином, заставляли ее пить, пока не напьется такой же пьяной, как мы¹⁷.

Или такие:

Повешенные качались на огромной ветке. Слабый запах гниения доносился от застывших фигур. Лица посинели и опухли, растянувшись в гримасы. На законченных руках с ногтей отходило мясо, из глаз сочилась желто-коричневая жидкость, засыхая коркой на щеках, покрытых бородой, которая росла и после смерти. Один солдат их сфотографировал, другой покачал их палкой. Партизаны. Мы рассмеялись и двинулись дальше по гати, проходившей через лиственный лес¹⁸.

Или после нападения:

Немецких солдат мы накрыли брезентом, а с казаков стянули валенки, которые отлично защищают от холода, шапки, а также штаны и нижнее белье и надели их. Мы теснились все вместе в сохранившихся домах. Один солдат не нашел больше валенок и только на следующий день нашел окоченевшего на холоде красноармейца. Он пытался стянуть валенки с его ног, но безуспешно. Тогда он взял топор и отрубил мертвецу обе ноги по колено. Взял эти обрубки и поставил их в печь рядом с нашим обедом. Пока варилась картошка, ноги оттаяли, и он натянул на себя окровавленные валенки. Мертвец за обедом нам мешал не более, чем когда кто-то перевязывал за едой свои обмороженные конечности или давил вшей¹⁹.

Риз описывает, как его подразделение расстреливало военнопленных²⁰, убивало гражданских²¹, сжигало деревни и разоряло запасы. Он также пишет о женщинах — пленных и проститутках, которых насиловали он и его товарищи. Коротко говоря, пишет про все, что известно о поведении самых обычных солдат в военное время. Затем, в сентябре 1943 г., Риз признается: «Я сломался под грузом той вины», после того как его подразделение, отступая, разоряло деревни, убивало людей и, вероятно, совершало все возможные акты насилия²².

Кто этот молодой человек? Ханжа, возмущающийся режимом, за который он сам пошел на войну на уничтожение? Циник, который под воздействием дурной смеси из интеллигентности, разочарования в жизни и алкоголя наслаждается пытками голой пленной? Просто человек, охваченный страхом смерти, который ради собственного выживания убивает, грабит, разоряет? Эстет, в преувеличенном виде выражающий жестокость и презрение к людям? Диссидент, позволяющий себе писать и говорить все, что думает о происходящем? Жертва эскалации насилия, с которым он ничего не мог поделать? Послушная частица общества, подавляющее большинство членов которого полагали, что нет ничего особенного в том, чтобы завоевывать восток, убивая, поработывая и депортируя живущих там людей?

Ответ таков: да, Вилли Петер Риз был всем этим. И это даже не полное описание. Изучая массовые убийства и людей, которые их совершают, приходится отказаться от некоторых защитных установок. Одна из них состоит в том, что, когда происходит нечто необычное или кажущееся необъяснимым, мы сокращаем личность действующего лица до одного измерения: тот, кто убивает, — убийца. При этом подразумевается, что его личность содержит некие качества убийцы или вообще определяется только ими²³. В этой связи интересен

один базовый феномен психики, который называется «фундаментальная ошибка атрибуции». Он означает, что люди в принципе склонны обосновывать собственное поведение ситуативными факторами («Так получилось», «Мне пришлось так поступить, потому что...»), а поведение других людей объяснять особенностями их личности («Он всегда был таким», «У нее есть склонность к истерикам») и т.п.²⁴

Когда происходящее обрушивается на нас с такой запредельной жестокостью и беспощадностью, которую мы не в состоянии объяснить, мы зачастую оцениваем действующих лиц исходя из бинарной системы: некто действует морально или аморально, хорошо или плохо, как преступник или как жертва, как нацист или как противник нацизма. Но люди не могут быть чем-то одним, за исключением патологических случаев, которые не важны для событий, описываемых в данной книге. Во время Второй мировой войны и Холокоста некоторые убежденные нацисты спасали евреев²⁵, и необязательно было становиться убежденным национал-социалистом, чтобы их убивать. Связь с фундаментальными основами немецкой культуры, с Бетховеном, Моцартом, Гёте и Келлером, которых чествовали в Третьем рейхе, была для наших действующих лиц не просто циничной декорацией. Зачастую она играла в их жизни действительно большую роль, вызывала глубокое чувство наслаждения, была частью их идентичности. Ученые, создававшие концепции евгеники — улучшения человеческой породы — и разрабатывавшие планы по заселению «восточного пространства», не были псевдоучеными. Они были высокообразованными людьми — которые, однако, использовали свою научную квалификацию в антигуманных целях. «Католические священники благословляли оружие для крестового похода против безбожного большевизма и одновременно с этим выступали против преступлений,

совершаемых в рамках программы “эвтаназии”»²⁶. И, конечно, немало немецких граждан, не питавших к евреям никаких особых чувств, продолжали приобретать товары в еврейских магазинах, потому что там было дешевле. Точно так же были люди, которых возмущало позорное обращение с еврейскими судьями и врачами. Им было стыдно за то, как поступали с этими людьми, но они тем не менее не упускали возможности прикупить удобное кресло в гостиную или симпатичную картину там, где их можно было найти по дешевке, — например, в «еврейских коробках» на набережной Камерункай в Гамбурге, где распродавалось «ариизированное» имущество бельгийских и голландских евреев, депортированных или принужденных к эмиграции.

Взглянув на самих себя, мы вполне можем заметить, что наши действия иногда сильно отличаются от наших моральных принципов. В зависимости от ситуации мы способны на самые разные суждения и действия, позволяем себе «плохое» поведение, хотя знаем, какой поступок был бы «хорошим». Ложь, внутренние противоречия и пренебрежение моралью могут быть свойственны нам в той же мере, как доверие, цельность и уважение. Самоанализ демонстрирует и еще кое-что: когда мы, изучая свою нравственность во всем многообразии, сталкиваемся с какой-либо своей чертой, которая кажется нам сомнительной в моральном отношении, то сразу же пытаемся оправдаться — найти объяснение, *почему* мы так поступили, хотя могли бы повести себя и лучше, почему не воспользовались своим полным потенциалом, почему нам *пришлось* соврать, обмануть или предать. Мы всегда находим на удивление веские причины, почему наше поведение, которое мы сами воспринимаем как неправильное, может предстать осмысленным и оправданным хотя бы в наших собственных глазах. Это необходимо,

чтобы соответствовать нашим личным моральным притязаниям, даже если «в порядке исключения» мы совершили нечто противоречащее им.

Мораль убийства

«Я полагаю, господа, что вы достаточно меня знаете, знаете, что я не кровожадный человек и не испытываю радости или удовольствия, когда вынужден проявить жесткость. Но вместе с тем у меня крепкие нервы и большое чувство долга — это я могу за собой признать, — и, когда я вижу задачу и вижу необходимость ее выполнить, я выполняю ее бескомпромиссно»²⁷. Эта цитата, как и другая, более известная²⁸, принадлежит Генриху Гиммлеру, и не случайно такие преступники, как он, Рудольф Хёсс и множество других, постоянно подчеркивали, что уничтожать людей было неприятным делом, противоречащим собственной «человечности» убийц, но как раз в этом преодолении себя и принуждении к убийству проявлялось особенное качество их характера. Здесь речь идет о связи убийства с моралью, и именно связь между осознанием необходимости неприятных действий и чувством, что эти действия, воспринимаемые как необходимые, совершаются *против* собственного человеческого сопереживания, давала каждому из преступников возможность и в момент убийства ощущать себя «порядочным» человеком, который — цитируя Рудольфа Хёсса — «имел сердце» и «не был плохим»²⁹.

В автобиографических материалах преступников — дневниках, заметках, интервью, если таковые имелись, — как правило, прослеживается один бросающийся в глаза признак. Даже те, кто совершал вещи, явно не вписывавшиеся ни в какие гуманные рамки, тем не менее со страхом

беспокоились о том, чтобы в них видели людей не «плохих», а стойких — таких, чья мораль оставалась непоколебимой даже при самых «экстремальных» поступках. Я хотел бы подробнее описать эту потребность на примере коменданта Треблинки Франца Штангля.

Штангль родился в 1908 г. в Австрии и с 1940 по 1942 г. был руководителем клиники эвтаназии в замке Хартгейм, с марта по сентябрь 1942 г. — комендантом лагеря смерти Собибор, а до августа 1943 г. — комендантом Треблинки. В 1971 г. он дал журналистке Гитте Серени подробные интервью о своем прошлом³⁰, которые послужили материалом для моих рассуждений. Серени попыталась — как и в своей книге об Альберте Шпеере³¹ — раскрыть личность преступника через его отношение к вине. Затея проблематичная, поскольку журналистка предполагала, что преступники в принципе испытывали что-либо похожее на вину. Но интервью Серени со Штанглем очень показательны, потому что в них этот военный преступник пытается показаться журналистке таким «хорошим парнем», каким, видимо, был в своем собственном представлении.

В рассказах Штангля речь идет в первую очередь не о жертвах, а о его собственном психологическом состоянии. Эмоциональную вовлеченность по отношению к жертвам он демонстрирует только тогда, когда те уже мертвы, но при их устранении что-то пошло не так: «Они сложили слишком много трупов [в одну яму], так что из-за интенсивного разложения все текло. Трупы вываливались из ямы, катились под гору. Я видел некоторые — боже мой, как это было ужасно»³². Будучи комендантом лагеря смерти, Штангль неоднократно сталкивался с такими вызывающими ужас картинами и решал проблему конфронтации с ними — точно так же, как комендант Освенцима Рудольф Хёсс³³, — дистанцируясь

от происходящего. Он либо смотрит в сторону и вообще избегает мест убийства («В Собиборе можно было почти полностью избежать этих картин»³⁴), либо маниакально ударяется в работу³⁵ и из-за перегрузок уже не воспринимает того, какие результаты приносит его неустанная деятельность.

Однако наряду со стратегиями избегания отвратительных аспектов работы интересно и то, какую оценку дает Штангль в интервью моральным аспектам своих действий. Например, пытается на основе выученного в полицейской школе оценить, можно ли считать его причастным к преступным действиям: «В школе полиции нас учили — я хорошо запомнил, это нам ротмистр Ляйтнер постоянно говорил, — что для преступления должны выполняться четыре основных условия: инициатива, предмет, преступное действие и свобода воли. Если один из этих четырех принципов отсутствует, то речь не идет о наказуемом действии. <...> Видите ли, если “инициатива” шла от нацистского правительства, “предметом” были евреи, “преступным действием” — уничтожение, то я могу сказать, что лично с моей стороны отсутствовал четвертый элемент — “свобода воли”»³⁶.

В своих рассказах, связанных с тем, что он называет «свободой воли» в контексте его зоны ответственности, Штангль демонстрирует, сколь большое значение он придает моральной характеристике своих действий. Стремление отвести от себя подозрение в том, что он лично имел что-то против евреев, играет такую же важную роль, как и постыдная мысль о том, что, будучи комендантом, он допустил некие нарушения. Например, Штангль излагает жалобу одного только что прибывшего в Трешлинка еврея («прилично выглядящий тип»), который пожаловался на надзирателя, пообещавшего ему воды, если тот отдаст свои часы. «Но этот литовец часы забрал, а воды ему не дал. Это же было неправильно, да?

Ни в коем случае воровства при мне не было. Я сразу спросил у литовцев, кто взял часы. Но никто не откликнулся. Франц <...> мне прошептал, что, возможно, речь идет об одном из литовских офицеров — у литовцев были так называемые офицеры — и что я ведь не стану при всех позорить офицера. Я ему сказал: “Меня совершенно не интересует, что за форма на мужчине надета. Меня интересует только то, что внутри”. Это сразу же передали в Варшаву. Но мне было все равно. Правильное должно оставаться правильным, разве не так?»³⁷

Здесь бросается в глаза мораль надличностной корректности, которая распространяется как на еврея, подавшего жалобу, так и на возможную провинность офицеров-коллорабационистов. «Правильное должно оставаться правильным» — основной принцип действия Штангля, который абсолютно не вписывается в общий контекст ситуации и совершенно оторван от того обстоятельства, что жалобщик, вероятно, был убит в газовой камере еще до окончания расследования Штангля. Так или иначе, на вопрос Серени о том, что случилось с тем человеком, Штангль отвечает кратко: «Я не знаю». Контекст массового уничтожения остается для Штангля и его истории совершенно посторонним аспектом. Для него важно то, как выглядело его собственное поведение в конкретных ситуациях, и то, что он сам был против формирования личного отношения к заключенным, как положительного, так и отрицательного.. В этом он черпает моральную цельность, которую сам себе приписывает. По мнению Штангля, его нравственность — по крайней мере, на уровне конкретных действий — несомненна и имеет доказательства, поэтому исполнение других задач, не противоречащих его «свободе воли», не вызывает у него ни малейшего беспокойства.

Тем не менее одна история вызвала у Штангля в интервью Серени явный дискомфорт и волнение, поскольку с ней была

связана опасность предстать человеком, действующим из личных мотивов, человеком с садистским характером. Речь идет о свидетеле Станиславе Шмайзнере, который попал в Собибор 14-летним мальчиком и избежал уничтожения, поскольку продемонстрировал навыки ювелира и, очевидно, вызвал у Штангля некую симпатию. Штангль заказывал у него множество ювелирных изделий и иногда, по показаниям Шмайзнера, приходил к нему просто поболтать. Важную роль в его судебных показаниях сыграло то, что Штангль каждый вечер пятницы приносил ему колбаски со словами: «Вот тебе колбаски, отпразднуй Шаббат». В беседах с Серени Штангль многократно возвращался к этому намеку на его подлость — попытки соблазнить еврейского мальчика съесть свинину именно в Шаббат. Из всех свидетельских показаний во время судебного процесса над Штанглем именно эта история вызвала у него наибольшее беспокойство и возмущение: «Эта история с колбасками намеренно искажена <...> Да, я приносил ему еду, возможно, там были и колбаски. Но не для того, чтобы прельстить его свининой или как-либо поиздеваться на нем. Я же приносил и другие продукты. Наверное, потому, что мы сами получали провиант по пятницам и в лагерях всегда было полно еды, у нас оставались продукты. Мне нравился этот мальчик»³⁸.

Для нашего исследования совершенно неважно, действительно ли Штангль приносил свои дары из какой-то особой подлости, или по доброй воле, или вообще не задумываясь об этом. Примечательно другое: беспокойство у Штангля вызывали не его ответственность за массовые убийства и не тот факт, что он руководил двумя лагерями смерти, а то, что его моральная цельность в личном обращении с конкретным человеком публично ставилась под сомнение. Серени совершенно правильно отмечает: больше всего хлопот ему

доставляло «то, что конкретно он совершал, а не то, чем он был»³⁹. Однако она видит в этом доказательство «моральной коррумпированности» Штангля и нежелание разбираться «с полным изменением своей личности».

Серени полагает, что Штангль, бывший сам по себе цельным человеком, во время процесса уничтожения разложился и утратил моральный облик. Однако намного ближе к правде был бы обратный вывод: Штангль не испытывал никаких или почти никаких моральных затруднений при выполнении «работы», которую, с его точки зрения, он должен был выполнять, потому что смог вписать ее в систему координат, лежащую за пределами его ответственности. Он не испытывал подобных затруднений и тогда, когда хотел видеть себя «хорошим парнем» — справедливым, деловым, непредвзятым, а иногда даже участливым и дружелюбным (что выходило за предписанные рамки). Именно поддерживая такую самооценку, Штангль мог без колебаний выполнять свою непосредственную функцию, которая заключалась в умерщвлении огромного количества людей. Перед ним стояла задача, направленная на достижение более или менее обоснованных целей, а себя он видел исполнителем, который всегда готов успешно решать поставленные задачи, но хочет при этом «оставаться человеком».

Штангля угнетает, что кто-то может в этом усомниться; именно поэтому он старается представить свои действия в правильном свете. То, что его моральное разложение не было обусловлено лагерной «работой» — если уж размышлять в таких категориях, — а существовало с самого начала, видно, среди прочего, из того, что за разгрузкой машин с депортированными он наблюдал, будучи одетым в белый костюм для верховой езды. Сам Штангль объяснял это, во-первых, тем, что из-за плохих дорог предпочитал передвигаться на лошади,

во-вторых, тем, что стояла жаркая погода, и, в-третьих, тем, что у портного из соседней деревни, у которого он заказал костюм взамен изношенной формы, была в наличии только белая льняная ткань. Форма же так быстро обветшала из-за многократной дезинфекции от комаров. Когда Штангль рассказывал про это, Серени его перебила и спросила: «Комары наверняка ужасно досаждали заключенным?» На что Штангль коротко ответил: «Не все реагировали на них так чувствительно, как я <...> Я им [комарам] просто понравился»⁴⁰.

Можно говорить здесь о полном отсутствии эмпатии или даже о шизоидной необдуманности, но эпизод свидетельствует не о процессе морального разложения, а о несомненно присутствовавшем уже и до этого ощущении собственного превосходства и всемогущества. Поэтому история с костюмом и 25 лет спустя не вызывает у Штангля ни малейшего беспокойства. Его волновало лишь то, что именно из-за этого костюма он выделялся в хаосе прибывавших машин, так что в дальнейшем его смогли опознать выжившие свидетели — как человека, стрелявшего в толпу. Это возмутило Штангля до глубины души, и он заверял, что никогда такого не делал⁴¹. В дополнение к возмущению, охватившему Штангля из-за покушений на его цельность, он рассказывал истории, которые должны были доказать эту цельность, — например, о заключенном по фамилии Блау, которого он, очевидно из симпатии к нему, сделал поваром. «Он знал, — рассказывает Штангль, — что я по возможности буду ему помогать. Однажды рано утром он постучал в мой кабинет. Он выглядел очень обеспокоенным. Я сказал: “Конечно, Блау, заходите. Что вас так беспокоит?” Он ответил, что беспокоится за своего 80-летнего отца. Тот якобы прибыл утренним транспортом. Не мог бы я как-нибудь помочь? Я сказал: “Нет, Блау, правда, это невозможно, вы же понимаете. Восьмидесятилетний...” Он сразу сказал,

что, конечно, понимает. Но, может, я мог бы разрешить перевести его отца в “лазарет” (вместо газовой камеры)? И, может, он мог бы перед этим дать отцу что-нибудь поесть с кухни? Я ответил ему: “Блау, идите и делайте то, что считаете нужным. Официально — я ничего не знаю. Неофициально — можете передать от меня капо, что все в порядке, можно”. Когда я вернулся в кабинет после обеда, Блау уже ждал меня. В глазах у него стояли слезы, он встал по стойке смирно и сказал: “Господин гауптштурмфюрер, я хочу вас поблагодарить. Я дал отцу поесть и отвел его в “лазарет” — все позади. Я вам очень благодарен”. Я ответил: “Да, Блау, не стоит благодарности, но, если хотите, конечно, можете поблагодарить”»⁴².

Впечатление невероятного цинизма, которое сейчас производит эта история, бьет мимо цели, ради которой Штангль совершенно искренне рассказал об изложенном эпизоде. Но эта история не является доказательством морального распада. Она показывает, что человек уже тогда, в рамках нормативных ориентиров того времени ощущал себя «хорошим парнем», потому что, закрыв глаза на правила, немного облегчил кому-то путь к смерти. Тот факт, что Штангль рассказывает подобные истории в качестве иллюстрации своего «человечного» отношения, демонстрирует, что преступники нуждаются в подобных доказательствах, чтобы поддерживать собственный образ цельной личности, — и рассчитывают, что слушатели увидят их такими же.

Похоже, нежелание прослыть «плохим» — базовое свойство человека. Самый жестокий преступник, судя по всему, придает огромное значение тому, чтобы его личность хотя бы с какой-то стороны воспринималась как «человечная», иначе он попадает в категорию людей, которых сам презирает⁴³. Это будничное наблюдение не противоречит социопсихологической точке зрения, согласно которой за пределами

включенности в социальный контекст человеческой жизни просто не существует. Стало быть, и тут можно согласиться с Серени: для преступников вроде Штангля действительно было трудно признать себя чудовищами, какими их видим мы.

Но был ли Штангль действительно чудовищем? Можно без труда ответить на этот вопрос в аспекте политики и морали, но не в аспекте науки. С точки зрения социопсихологии — и это вызывает у ученых немалый внутренний протест, учитывая чудовищность совершенных поступков, — Штангль не делал ничего такого, что не укладывалось бы в рамки современных ему нормативных стандартов, мнения ученых, военного долга и канонизированного определения чести. Получается, своими поступками он лишь подтверждал соответствие современному ему определению морального поведения. Потому и десятилетия спустя его беспокоило лишь то, не совершил ли он ошибок в обращении с конкретными людьми.

Эти сомнения в сохранении «порядочности» всегда появляются, когда преступники, повествуя о прошлом, размышляют над оценкой своих действий, — например, когда Штангль сталкивается с обвинением его в подлости или когда Рудольф Хёсс рассуждает о совершенных им поступках, «которые любому, кто еще сохранил человеческое восприятие, разорвали бы душу на части»⁴⁴.

Желание считаться человеком, действовавшим в рамках морали, присутствует, насколько я вижу, у всех преступников, вне зависимости от их уровня образования, позиции в иерархии и умственных способностей. Курт Франц, заместитель и преемник Франца Штангля на посту коменданта лагеря смерти Трешлинка, редкий садист, под чьим руководством было жестоко убито около 300 000 человек (причем минимум 139 из них он убил собственноручно)⁴⁵, утверждал в одном